

Дача, Жанна, драка с дураком

Сергей Шаргунов

<https://shargunov.com/proza/dacha-zhanna-draaka-s-durakom.html>

У всякого месяца свои плоды. Плоды августа – арбузы и дыни. Ведь это месяц самой тугой, заключительной беременности, радости родов, горделивого материнства. Но в августе содержатся и тайны несчастий, боль отчаяния. Словно бы солдаты Ирода ищут младенца не под вифлеемской звездой, а под этим самодовольным звездопадом, и завтра детская кровь омоет толстое лезвие... Арбузы и дыни, астраханские, узбекские, подвозили в наш подмосковный поселок. И звезды в этот месяц кто-то подвозил невероятно близко. Арбузы и дыни в небе, сочные, без кожи, когда северное небо вдруг делается африканским.

«Авг, авг, авг», – густо бранились под звездами псы, сбившись в бродячий отряд. Метались, сталкивались, пыль дороги посверкивала, а в траве трещало. Одна псина, вспыхнув глазами, скакнула в сторону и завизжала. Она испугалась каменного удара яблока за забором. Наш забор. На калитке мерцала стальная табличка со злой собакой. Собаки за забором не существовало. Стоял темный дом, и в нем я спал.

Целый день до этого я читал «Войну и мир». Валялся после завтрака на диване и грыз карамель (жестяная банка). Оставление Москвы, поджоги, тяжелое движение обозов, бледный юнец, который зачем-то начал благословлять Наполеона, сцена расправы над бледным юнцом. Наташа над умирающим Андреем. Карамель кончилась. За открытым окном просторно горел день. С затрепанным томом я пошел на кухню, набил карманы джинсов грецкими орехами, и отправился в сад, в солнце, на деревянную горячую скамейку. Я переворачивал страницу и раскалывал по ореху. Пьер Безухов в захваченной Москве, Наполеон как Антихрист, ожидание французской пули, знакомство с Платоном Каратаевым. Некоторые я с тигриной силой расцеплял в руках, а особо неподатливые орехи клал под зад, надавливал, и с хрустом раскраивал. Читая, выедая орех из осколков, я постепенно вошел в такой нежный транс, в причудливое очарование такое, что неожиданно почувствовал себя другим. Слепительное прояснение, спровоцированное ясной погодой, открыло толстовский мир, который не даст никакой литературовед. В этом простецки-изящном, солнечно-затуманенном толстовском мире я поехал на велосипеде за арбузом.

Я ехал по страницам Толстого. Август, торжественно окружавший, огрубевшая за лето зелень, дорога, которая ойкала в моем сердце каждой выбоиной, треньканье звонка на ухабах, и шипение шокированной шины, когда я затормозил резко, чтобы не столкнуться с девочкой, выскочившей наперерез из другого земляного переулка... Это все был Толстой! И висевший на руле белый пакет придумал он. Он сочинил август, наделил сегодняшний день ярким солнцем, но если бы стало сыро и мерзко, как пару дней назад, все равно было бы здоровски, потому что Толстой пребывал везде.

Девочка мне нравилась. Я ее, желтоволосую, видел и раньше, на велосипеде. Высокая, костлявая. Всегда у ее колеса бежала собака породы мастиф, путаясь в слюнях. А сейчас девочка выехала мне наперерез без собаки. Мы чуть не столкнулись и спешили. Вряд ли бы мы заговорили когда-нибудь, если б не дорожный эксцесс.

– Ух ты, – сказала она, ступив двумя сандалиями на землю, но крепко держась за руль. – Извиняюсь.

Я, небрежно отставив велосипед за левый бок и придерживая его одной рукой, растянул губы нервно:

– А где твоя собака?

– Собака? У бабушки в Москве. А откуда ты ее знаешь?

– Видел вас.

– И я тебя видела.

Это были смущенные реплики, которые колебало счастье спасения, – чуть-чуть и мы бы столкнулись. У Жанны (так она назвалась, мы уже гарцевали на велосипедах, то есть медленно катили) была короткая стрижка, розовые шорты и черная футболка с диснеевским утенком. Светлые глаза. Ей было двенадцать, на год старше меня и выше на полголовы, но одета она была в сладкие тряпочки, уместные для девятилетней.

– Я за арбузом, а ты?

– На станцию. Папу встречать.

– По дороге, – сказал я, улыбаясь снова.

– Че ты подмигиваешь?

– Погода хорошая.

– Ага. Дожди так долго шли. Нас собака достала, вся грязная. Из бочки ее поливали, она еще хуже стала. Мама ее в Москву отправила – хоть отмоеся нормально. Классно, что все высохло, скажи? Скоро моя Тина вернется, моя лапочка!... Она у нас добренькая, мышку не обидит. Даже не гавкает. Она мое золото! Больше всех ее люблю! А чем ты на даче занимаешься?

– Книжку читаю. «Война и мир». Дождь был, я у радио сидел, переживал. Такие события! Коммунистов победили. Ты знаешь?

– Ну да, – она поскущнела. – Папа говорит: теперь плохо будет.

– Он что, коммунист?

– Почему, коммунист?

– Где работает?

– Много будешь знать – скоро состаришься! В райкоме он работает.

– Значит, коммунист.

Она отвернулась, и крутанула педали, обгоняя меня, и вильнула обиженно. Мы выехали на асфальтовую улицу.

– У вас яблок много? – крикнул я в черную спину и желтый затылок.

Навстречу пробежала стая собак, пять бездомных, увлеченных призрачной целью, и равнодушных к нам. Одна собака, угольная, бежала, прихрамывая, я оглянулся и она оглянулась, репей на тревожном ухе. Невидимый Лев Толстой почесал бороду.

– Яблок в этом году много, – заявила Жанна по-взрослому, мы опять поравнялись.

– Значит, за арбузом едешь? А я дыню люблю. Она сладкая. В арбузе – одна вода!

– Посторожишь мой велик?

– А на станцию не опоздаю? Пять минут осталось.

– Щас, мигом...

Внутри магазина было безлюдно. Несколько старух. Прилавки под стеклом поблескивали стальными проплешинами пустот. За прилавком громоздились футбольные мячи арбузов и регбийные дынь, но про регби я еще ничего не знал. Взял плод, важно постучал по теплой кожуре, повертел сухой хвостик. Дома мне выдали денег только на арбуз, иначе джентельменски я бы забрал и дыню – желтой девочке.

В магазин вошел враг.

Его звали Сирэ. Полудурок, необычно вечно бледный. Лет тринадцати, бескровная ухмылка, прищуренный глаз. Говорят, однажды в грозу он упал на землю и заблеял: «Сирэ-э-э!», с этих пор и приклеилось к нему прозвище. Он яблоками недавно через забор в меня кидался, подгнившими. Материл сквозь щели забора. По-настоящему мы с ним еще не сталкивались. Вот с моим приятелем дачным Алешкой они уже столкнулись. Весной. Сирэ чистил талый лед, а Алеша мимо шел, и Сирэ его долбанул лопатой по лицу. Приветливо. Не острием, тыльной стороной.

Заплатив, я быстро пошел к выходу с арбузом у живота.

– Постой, пельмень.

– Я не пельмень.

– Чего ты сказал?

Мы уже стояли на улице, трое.

– Я не пельмень.

– Дай прокатиться, – он безошибочно выбрал мой велосипед, встряхнул со звоном, пока я пытался втиснуть арбуз в пакет.

– Отпусти! Не твое! – сказал я, ненавидя его, себя и девочку-свидетельницу, и этот оскорбительный август, моментально скисший и затошнвивший. – Ты что, дурак? – добавил я, дразня, и выронил пакет. – Сирэ...

– ...твою мать, ты как меня назвал? – он отшвырнул велосипед и пнул колесо.

– Прекратите! – закричала Жанна. – Мне на станцию надо.

– Арбуз дай попробую, – ласково пропел он, наступая, темный глазок был пытливо узок. – Кусочек отрежу, – он вытащил из кармана черных треников синюю пластмассовую рыбку, тотчас выплюнувшую лезвие. – Кусочек, и отпущу. Дай, ну дай! – он приближался быстрее, чем я отходил. – А ты, правда, карате знаешь? Твоя мать моей хвастала. Покажи прием!

Лезвие ножа спряталось, но это не обрадовало, потому что в ту же секунду белое лицо врага, вялое, собралось, сжалось, губа брезгливо задралась:

– Ты че мне хамил, а?

– Отойди, – я толкнул его в грудь, отрицая толстовство.

– Ты так со мной, пельмень?

– Хватит! – закричала Жанна, но уже как-то возбужденно, кокетливо, будто сей поединок в ее честь.

Я отступил на шаг, прикрываясь арбузом, и со всей силы швырнул его под ноги. Гол! Шар взорвался. Плеснул мокрым жаром. Хороший я выбрал, спелый.

Мы все смотрели на арбуз.

– Гад, ты же мне штанину изгадил! – первым очнулся враг, и взмахнул ногой.

Я поставил блок рукой, а левой стукнул ему в скулу. Он навалился, вцепившись в горло, и мы упали. Удалось его перевернуть, вырваться, но он поставил подножку, я грохнулся, он навалился снова, долбанул в ухо. Мы катались, он был крепче. Вернулись, катаясь, к разгромленному арбузу, скользкие полушария лопнули на несколько ломтей под нами, Жанна ворвалась в слепую кашу, беспорядочно царапаясь, потемнело, боль, удар, еще...

Я взмолился Льву. Николаевичу Льву. Не буквально Льву Николаевичу. Но, погруженный всем этим августом в толстовский мир, я обморочно взмолился об избавлении, и адресатом мольбы не мог быть никто, кроме Толстого.

Врага отдернуло.

– Удавлю! – рокотал голос свыше.

Я вскочил.

Сирэ с искривленным лицом болтался в объятиях мужика. Враг мой хрустел из чугунного зажима. Мужик был в сером костюме, однако измятом, заляпанном, как будто сам недавно дрался. Не разжимая объятий, он шатался вместе с моим врагом. Оглушительно пахло выпивкой. Жанна вертелась, вереща задорным голоском примерницы:

– Папочка, он на нас напал! Этот козел...

Враг полетел в сторону, в траву, мы шли. Замедленно, как подводники. Мы с Жанной вели свои велосипеды. Я запрокидывал голову (нос расквашен) и прихрамывал. Мужик шатался, потный, жилистый, похожий на индейца, бормотал и напевал.

– Видишь, какой он у меня сильный! Настоящий герой! – шепнула девочка, и, заискивая, спросила: Как там в Москве, папуль? Как Тиночка наша?

Мужик ступал, трудно, важно, в нем гуляло море вина.

– Все, Жанночка, нет больше у твоего папы работы... – он остановился, мы заглянули ему в лицо.

Взгляд его косо и страшно разбежался, сосредоточился в углах глаз. Этим диковинным взглядом он уткнулся в зелень по краям дороги, словно обдумывал сразу две каких-то далеких, трудных, боковых мыслишки, пытаюсь слепить из них одну главную.

Выдохнул. Пошел дальше, наборматывая, петляя мутным взглядом, иногда опираясь на дочку.

– Пап, ты настоящий герой!

– Простой, как Лев Толстой... – прогудел мужик неожиданно благодарным голосом, и хохотнул.

А я в который раз ужаснулся тому, что все слова и мысли на свете связаны.

Дома ругали и жалели. Бодро я объявил, что упал с велосипеда, от этого ушибы, ну а арбуз разбит. Не поверили, что упал, но Сирэ я не сдал, зубы сжав. Промывшись из ведерка и поежившись под мазками материнского йода, забрался на диван. Жрал яблоки смачно и безжалостно, как личных врагов. Когда Платона Каратаева убили – заплакал.

Ночью приснилась дорога возле забора. Пыльная, ночная, чья пыль заметна из-за близости звезд. Снился странный сон: все спали в одном нашем доме, комнаты были бесконечны, и я узнавал многих знакомых в темных комнатах по очертаниям: Жанна спала, спал папа ее, спал Сирэ, жалобно всхлипывая, я его за все простил, потому что во сне был спокоен ко всем. А на пыльной дороге метался отряд собак. Упало яблоко в нашем саду, собака отпрыгнула от стаи, яблоко

лежало в стрекочущей траве, белое и влажное, звезды бодрствовали, милосердные, палаческие. Звезды августа.

Лето кончилось. Кончилась «Война и мир». Недоуменно изучил толстовское послесловие. Взялся за Ната Пинкертона, чьи фокусы переиздали на волне того времени. В последний день месяца мы выехали с Жанной на верховую прогулку. Герой помалкивал, загадочный и бдительный, как король сыска. Мой невидимый котелок раскачивался под усталым вечерним солнцем. У Жанны шины недавно наехали на стекло, и сдулись. Но ради этой прогулки она тяжело крутила педали. Она ползла рядом, не отставая. С дырявыми шинами. Метафора влюбленности.

(Позже ее отец нашел себя в бизнесе, она родила двойню, мастиф подох, Сирэ забрали в армию, он вернулся и стал работать на местном такси.)

«Гнездо преступников под небесами», «Стальное жало», «Борьба на висячем мосту». Август кончался малиновой улыбочкой великого Пинкертона, хладнокровными антоновскими яблоками гладковыбритых американских щек. Сейчас, на излете лета, напитанный детективными ядами, я подозревал злодейский умысел везде, и в том, конечно, что некто натолок стекло у Жаннинных ворот, этим убив ее шины. Не Сирэ ли бил бутылки? Мы разъезжали по поселку, воздух свистел, всюду умирало лето.

Мы не целовались. Въезжали в сентябрь на своих велосипедах. В город, в разлуку, в привычную суету, в жизнь, которая вот-вот исчезнет, в будущее, которое не возникнет. Его, это будущее, сложившееся и зрелое, как август, не взяли с собой, забыли за поворотом, и оно ноет там и бродит и никогда не ...

Один человек, сидевший рядом со мной во время длительного ночного перелета через океан, рассказал о ночных страхах своего детства. Ему постоянно мерещился один и тот же кошмар, он кричал и в панике звал родителей.

Это случалось в долгие вечера: тихие, сумрачные часы без телеэкранов (единственными звуками были шепот радиоприемника или шелест отцовской газеты) располагали к появлению странных мыслей. Он помнил, что боялся уже начиная с полдника, несмотря на успокаивающие слова родителей.

Ему тогда было года три-четыре. Он жил в угрюмом доме на окраине небольшого города, отец, человек принципиальный и не чуждый сарказма, директорствовал в школе, мать, аптекаршу, вечно окружало облако лекарственных запахов. Была еще старшая сестра, но та, в отличие от родителей, не пыталась ему помочь. Как раз наоборот – с непонятной для него нескрываемой радостью с самого обеда напоминала брату, что ночь не за горами. И если никого из взрослых не оказывалось поблизости, пичкала его историями о вампирах, восстающих из могил мертвецах и всевозможных исчадиях ада. Но удивительное дело: ее рассказы ничуть его не пугали – он не умел бояться всех этих существ, которых все считают страшными, они ничуть его не ужасали, словно место, предназначенное для страха, было в нем уже занято, и все возможности ощущать это чувство – исчерпаны. Он слушал возбужденный голос сестры, когда та драматическим шепотом пыталась его запугать; слушал совершенно спокойно, зная, что ее истории – ничто по сравнению с той фигурой, которую он видел каждую ночь, лежа в кровати. Так что, повзрослев, он, в сущности, мог бы быть благодарен сестре, привившей ему этими историями своего рода иммунитет ко всем обычным страхам земного шара: в определенном смысле он вырос человеком бесстрашным.

Причина его страха была невыразима, он не умел найти для нее слов. Когда родители вбегали в его комнату, спрашивая, что случилось, что ему снилось, он говорил только: «он», «кто-то» или «этот». Отец зажигал свет и, убежденный в непреодолимой силе эмпирического доказательства, демонстрировал сыну угол за шкафом или место возле двери, повторяя: «Видишь, нет тут ничего, ничего тут нет». Мать действовала иначе – прижимала его к себе, окутывала стерильным аптечным ароматом и шептала: «Я с тобой, ничего не бойся».

Но он был слишком мал, чтобы страшиться зла. В сущности, ни о зле, ни о добре он пока еще не имел ни малейшего понятия. А кроме того, был слишком мал, чтобы опасаться за свою жизнь. Впрочем, есть вещи и похуже смерти, похуже тех случаев, когда вампир высасывает из тебя кровь, когда оборотень разрывает тебя на части. Детям это хорошо известно: саму смерть еще можно пережить. Худшее – то, что повторяется с определенной периодичностью,

неизменное, предсказуемое, неизбежное и инертное – то, что не зависит от тебя, вцепляется клещами и тащит неведомо куда.

Итак, в своей комнате, где-то между шкафом и окном, он видел темную человеческую фигуру. Фигура стояла неподвижно. В темном пятне, за которым угадывалось лицо, тлела маленькая красная точка – кончик сигареты. Время от времени, когда сигарета вспыхивала, лицо проступало из мрака. Бледные усталые глаза смотрели на ребенка напряженно, с какой-то претензией. Густая щетина с проседью, испещренное морщинами лицо, узкие губы, словно специально созданные для того, чтобы затягиваться дымом. Мужчина стоял неподвижно, а побледневший от страха ребенок поспешно совершал свои защитные ритуалы – прятал голову под одеяло, стискивал металлическую спинку кровати и беззвучно читал молитву ангелу-хранителю, которой научила его бабушка. Но это не помогало. Молитва обращалась в крик, и на помощь прибегали родители.

Это продолжалось какое-то время, достаточно долгое, чтобы заронить в детскую душу недоверие к ночи. Но поскольку после ночи всегда наступал день и великодушно отпускал грехи всем порождениям тьмы, ребенок рос и забывал. День набирал силу, приносил все больше сюрпризов. Родители вздохнули с облегчением и вскоре тоже забыли о детских страхах сына. Они старели спокойно, в такт ежевесенним проветриваниям комнат. А тот человек из ребенка превращался в мужчину, преисполняясь уверенности, что детству не стоит придавать особого значения. Впрочем, утро и первая половина дня неизменно вытесняли из его памяти сумерки и ночь.

Лишь недавно – так он утверждал – неведомо как, незаметно, перешагнув шестидесятилетний рубеж, он однажды вечером вернулся домой усталым и понял, в чем было дело. Перед тем как лечь спать, решил выкурить сигарету и встал у окна, превращенного темной улицей в близорукое зеркало. Вспышка зажигалки на мгновение продырявила тьму, а потом огонек сигареты ненадолго осветил чье-то лицо. Из мрака проступила прежняя фигура – бледный высокий лоб, пятна глаз, полоска рта и щетина с проседью. Он моментально узнал его, тот человек ничуть не изменился. Сработала привычка – он уже набрал в легкие воздуха, чтобы закричать, – но звать было некого. Родители умерли; он остался один, детские ритуалы тоже утратили свою силу, он давно уже не верил в ангела-хранителя. Но мгновенно поняв, кого боялся когда-то так сильно, этот человек испытал подлинное облегчение. Родители, в общем, были правы – окружающий мир безопасен.

«Человек, которого ты видишь, не потому существует, что ты его видишь, а потому, что он на тебя смотрит», – заметил он в заключение этой странной истории, после чего мы погрузились в сон, убаюканные басистым урчанием двигателей.